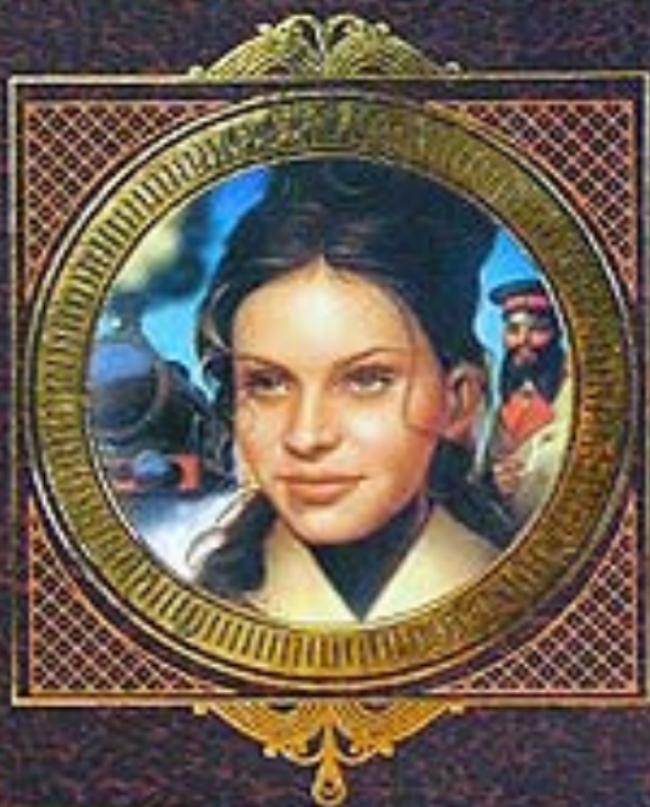


РУССКАЯ КЛАССИКА

Иван

БУШИН

Леткое дыхание



Легкое дыхание //Эксмо, М., 2001

ISBN: 5-04-001797-9

FB2: "shum29 ", 23.11.2008, version 1.1

UUID: 3e073fc0-0ac8-102c-96f3-af3a14b75ca4

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Иван Алексеевич Бунин

Сосны
(Легкое дыхание)

Содержание

#1	0005
Комментарии	0025

Иван Алексеевич Бунин

СОСНЫ

Вечер, тишина занесенного снегом дома, шумная лесная вьюга наружи...

Утром у нас в Платоновке умер сотский Митрофан, а в сумерках у меня сидел священник, опоздавший причастить Митрофана, пил чай и долго рассказывал о том, как много народу померзло в нынешнем году...

«Чем не сказочный бор?» — думаю я, прислушиваясь к шуму леса за окнами и к высоким жалобным нотам ветра, налетающего вместе с снежными вихрями на крышу. И мне представляется путник, который кружится в наших дебрях и чувствует, что не найти ему теперь выхода вовеки.

— Есть ли жив-человек в этих хижинах? — говорит он, с трудом различая в белой крутящейся мгле Платоновку.

Но морозный ветер захватывает ему дыхание, слепит снегом, и мгновенно пропадает огонек, который, казалось, мелькнул сквозь вьюгу. Да и человечьи ли это хижины? Не в такой ли же черной сторожке жила Баба-Яга? «Избушка, избушка, стань к лесу задом, а ко мне передом! Приюти странника в ночь!..»

Лежа весь вечер, я представляю себе, как пугливо и зыбко мерцают мои освещенные окошечки, такие одинокие среди бушующего леса, с головы до ног поседевшего от вьюги! Дом стоит у широкой просеки, в затишье, но когда ураган гигантским призраком на снежных крыльях проносится над лесом, сосны, которые высоко царят над всем окружающим, отвечают урагану столь угрюмой и грозной октавой, что в просеке делается страшно. Снег при этом бешено и беспорядочно мчится по лесу, непритворенная дверь в сенцах с необыкновенной силой бьет в стену, а собаки, которые лежат в них, утопая в снегу, как в пуховых постелях, жалобно взвизгивают сквозь сон, дрожа крупной дрожью... И мне опять вспоминается Митрофан, который ждет могилы в такую мрачную ночь. В комнате тепло и тихо. Стекла холодно играют разноцветными огоньками, точно мелкими драгоценными камнями. Лежанка натоплена жарко, а к шуму и стуку я так привык, что могу не замечать их. Лампа на столе горит ровным сонным светом. Ровно, чуть внятно звенит в ней выгорающий керосин, монотонно и неясно,

точно под землей, баюкает кто-то ребенка за стеною в кухне, — не то сама Федосья, не то ее Анютка, которая с малолетства во всем подражает своим вечно вздыхающим теткам, матери. И, прислушиваясь к этому знакомому с детства напеву, к этим шумам и стукам, весь отдаешься во власть долгого вечера.

*Ходит сон по сеням,
А дрема по дверям, —*

поет в душе жалобная песня, а вечер реет над головою неслышною тенью, завораживает сонным звоном в лампе, похожим на замирающее нытье комара, и таинственно дрожит и убегает на одном месте темным волнистым кругом, кинутым на потолок лампой.

Но вот в сенцах слышен певучий визг шагов по сухому бархатистому снегу. Хлопают двери в прихожей, и кто-то топает в пол валенками. Слышу, как чья-то рука шарит по двери, ищет скобку, а затем чувствую холод и свежий запах январской метели, сильный, как запах разрезанного арбуза.

— Спите? — спрашивает Федосья осторожным шепотом.

— Нет... А что? Это ты, Федосья?

— Я-с, — отвечает Федосья, меняя голос на громкий и естественный. — Ай я вас разбудила?

— Нет... Ты что?

Вместо ответа Федосья оборачивается к двери, — хорошо ли притворила? — и, улыбувшись, становится к печке. Ей просто хотелось проведать меня. Это небольшая, но плотно сбитая баба в полушубке; голова у нее закутана шалью и похожа на совиную, на полушубке и на шали тает снег.

— Там пыль! — говорит она с удовольствием и, ежась, прижимается к печке. — Что, давно вечер-то по часам?

— Половина десятого.

Федосья кивает головою и задумывается. За день она переделала сотни мелких дел. Теперь она в тумане отдыха. Глядя на свет совершенно бессмысленными, удивленными глазами, она с наслаждением затягивается долгим и глубоким зевком и, зевая, бормочет:

— Ах, господи, что ж это зевается, куда это девается! Вот жалко Митрофана-то! Целый день с ума не идет, а тут еще наши: выехали,

нет ли? Поедут — замерзнут!

И вдруг быстро прибавляет:

— Пойдите, — в каком ухе звенит?

— В правом, — отвечаю я. — Нынче они не поедут...

— Вот и не угадали! А я было про мужика своего загадала. Боюсь, обморозится...

И, увлеченная думами о вьюге, Федосья начинает:

— Так-то на сороки было, на сорок мучеников. Вот, расскажу вам, страсть-то была! Вы-то, известное дело, не помните, вам тогда небось пяти годочков не было, а я-то явственно помню. Сколько тогда народу померзло, сколько обморозилось...

Я не слушаю, я наизусть знаю рассказы о всех метелях, которые помнит Федосья. Я машинально ловлю ее слова, и они странно переплетаются с тем, что я слышу внутри себя. «Не в том царстве, не в том государстве, — певуче и глухо говорит во мне голос старика-пастуха, который часто рассказывает мне сказки, — не в том царстве, не в том государстве, а у самом у том, у каком мы живем, жил, стало быть, молодой вьюноша...»

Лес гудит, точно ветер дует в тысячу золотых арф, заглушенных стенами и вьюгой. «Ходит сон по сениям, а дрема по дверям», и, намаившись за день, поевши «соснового» хлебушка с болотной водицей, спят теперь по Платоновкам наши былинные люди, смысл жизни и смерти которых ты, Господи, веши!

Вдруг ветер со всего размаху хлопает сенной дверью в стену и, как огромное стадо птиц, с шумом и свистом проносится по крыше.

— Ох, господи! — говорит Федосья, вздрагивая и хмурясь. — Хоть бы уж спать скорей в страсть такую! Ужинать-то будете? — прибавляет она, делая над собой усилие, чтобы взяться за скобку.

— Рано еще...

— А мой стад — нечего третьих петухов ждать! Поужинали бы и спали бы, спали себе!

Дверь медленно отворяется и затворяется, и я опять остаюсь один, все думая о Митрофане.

Это был высокий и худой, но хорошо сложенный мужик, легкий на ходу и стройный, с небольшой, откинутой назад головой и с би-

рюзово-серыми, живыми глазами. Зиму и лето его длинные ноги были аккуратно обернуты серыми онучами и обуты в лапти, зиму и лето он носил коротенький изорванный полушубок. На голове у него всегда была самодельная заячья шапка шерстью внутрь. И как приветливо глядело из-под этой шапки его обветренное лицо с облупившимся носом и редкой бородкой! Это был Следопыт, настоящий лесной крестьянин-охотник, в котором все производило цельное впечатление: и фигура, и шапка, и заплатанные на коленях портки, и запах курной избы, и одностволка. Появляясь на пороге моей комнаты и вытирая полою полушубка мокрое от метели коричневое лицо, оживленное бирюзовыми глазами, он тотчас же наполнял комнату свежестью лесного воздуха.

— Хорошо у нас! — говорил он мне часто. — Главное дело — лесу много. Правда, хлебушка, случается, не хватает али чего прочего, да ведь на Бога жаловаться некуда: есть лес — в лесу зарабатывай. Мне, может, еще трудней другого, у меня одних детей сколько, а я все-таки иду да иду! Волка ноги кормят.

Сколько годов я тут прожил и все не нажил-ся... Я и не помню ничего, что было. Был буд-то один-два дня летом али, скажем, весной — и больше ничего. Зимних дён больше вспо-минается, а все тоже похожи друг на дружку. И ничего не скушно, а хорошо. Идешь по ле-су — лес из лесу выходит, синеет, а там про-галина, крест из села виден... Придешь, за-снешь — глядь, уж опять утро и опять пошел на работу... была бы шея — хомут найдется! Говорят — живете вы, мол, в лесу, пням моли-тесь, а спроси его, как надо жить, — не знает. Видно, живи как батрак: исполняй, что при-казано — и шабаш.

И Митрофан действительно прожил всю свою жизнь так, как будто был в батраках у жизни. Нужно было пройти всю ее тяжелую лесную дорогу — Митрофан шел беспреко-словно... И разладила его путь только бо-лезнь, когда пришлось пролежать больше ме-сяца в темноте избы, — перед смертью.

— За траву не удержишься! — говорил он мне, снисходительно улыбаясь, когда я сове-товал ему съездить в больницу.

И кто знает, — не прав ли был он?

«Умер, погиб, не выдержал, — значит, так надо!» — думаю я и поднимаюсь, чтобы пойти на воздух. Надев шубу и шапку, подхожу к лампе. На мгновение шум метели за окном смущает меня, но затем я решительно дую на свет.

В темных пустых комнатах, через которые я прохожу, мутно сереют окна. От налетающих вихрей они то светлеют, то темнеют, — совсем как в корабельной каюте в качку. В прихожей холодно, как в сенцах, и пахнет сырой, промерзлой корой дров, заготовленных на топку. Громадная старинная икона Божией Матери с мертвым Иисусом на коленях чернеет в углу...

На дворе ветер рвет с меня шапку и с головы до ног осыпает меня морозным снегом. Но, ох, как хорошо поглубже вдохнуть холодным воздухом и почувствовать, как легка и тонка стала шуба, насквозь пронизанная ветром! На мгновение я останавливаюсь и делаю усилие взглянуть... Новый порыв ветра прямо в лицо перехватывает мне дыхание, и я успеваю разглядеть только два-три вихря, промчавшихся по просеке в поле. Гул леса вырывается из шу-

ма вьюги, как гул органа. Я крепко нагибаю голову, погружаюсь почти по пояс в сугроб и долго иду, сам не зная, куда...

Ни деревни, ни леса не видно. Но я знаю, что деревня направо и что в конце ее, у плоского болотного озерка, теперь занесенного снегом, — изба Митрофана. И я иду, — долго, упорно и мучительно, — и вдруг в двух шагах от меня вспыхивает сквозь дым вьюги огонек. Кто-то бросается мне на грудь и чуть не сбивает меня с ног. Наклоняюсь, — собака, которую я подарил Митрофану. Она отскакивает при моем движении с жалобно-радостным визгом назад и бросается к избе, точно хочет показать, что там делается. А у избы, около окошечка, светлым облаком кружится снежная пыль. Огонек освещает ее снизу, из сугроба. Утопая в снегу, я добираюсь до окна и торопливо заглядываю в него. Там, внизу, в слабо освещенной избе, лежит у окна что-то длинное, белое. Племянник Митрофана стоит, наклонившись над столом, и читает Псалтирь. В глубине избы, на нарах, видны в полумраке фигуры спящих баб и детей...

Утро. Выглядываю в кусочек окна, не запущенный морозом, и не узнаю леса. Какое великолепие и спокойствие!

Над глубокими, свежими снегами, завалившими чащи елей, — синее, огромное и удивительно нежное небо. Такие яркие, радостные краски бывают у нас только по утрам в афанасьевские морозы. И особенно хороши они сегодня, над свежим снегом и зеленым бором. Солнце еще за лесом, просека в голубой тени. В колеях санного следа, смелым и четким полукругом прорезанного от дороги к дому, тень совершенно синяя. А на вершинах сосен, на их пышных зеленых венцах, уже играет золотистый солнечный свет. И сосны, как хоругви, замерли под глубоким небом.

Приехали братья из города. Они привезли с собой много бодрости морозного утра. Пока в прихожей обметали вениками валенки, обивали от снега тяжелые воротники шуб и вносили покупки в рогожных кульках, пересыпанных сухой снежной пылью, как мукою, в комнатах нахолодилось и металлически за-

пахло морозным воздухом.

— Градусов сорок будет! — с трудом выговаривает кучер, входя с новым кульком. Лицо у него багровое, — по голосу чувствуется, что оно задеревенело от морозу, — усы, борода и углы воротника на тулупе смерзлись в ледяные сосульки...

— Митрофанов брат пришел, — докладывает Федосья, просовывая голову в дверь, — тесу на гроб просит.

Я выхожу к Антону, и он спокойно рассказывает о смерти Митрофана и деловито переводит разговор на тес. Равнодушие это или сила?... Скрипя сапогами по замерзшему снегу на крыльце, мы выходим из дому и, переговариваясь, идем к сараю. Воздух крепко сжат утренним морозом, голоса наши раздаются как-то странно, пар от дыхания вьется при каждом слове, точно мы курим. Тонкий остистый иней садится на ресницы.

— Ну, и денек Господь послал! — говорит Антон, останавливаясь у сарая, где уже пригревает, и, щурясь от солнца, глядит на густую зеленую стену хвои вдоль просеки и глубокое ясное небо над нею. — Эх, кабы и зав-

тра-то так же! Ладно бы похоронили!

Потом мы отворяем скрипучие ворота насквозь промерзшего сарая. Антон долго гремит досками и наконец взваливает на плечо длинную сосновую тесину. Сильным движением подкинув и поправив ее на плече, он говорит: «Ну, покорнейше благодарим вас!» — и осторожно выходит из сарая. Следы лаптей похожи на медвежьи, а сам Антон идет приседая, принаравливаясь к колебаниям доски, и тяжелая зыбкая доска, перегнувшись через его плечо, мерно покачивается в лад с его движениями. Когда же он, утонув почти по пояс в сугроб, скрывается за воротами, я слышу замирающий скрип его шагов. Вот так тишина! Две галки звонко и радостно сказали что-то друг другу. Одна из них с разлету опустилась на самую верхнюю веточку густо-зеленой, стройной ели, закачалась, едва не потеряв равновесия, — и густо посыпалась и стала медленно опускаться радужная снежная пыль. Галка засмеялась от удовольствия, но тотчас же смолкла... Солнце поднимается, и все тише становится в просеке...

После обеда все ходят смотреть Митрофа-

на. Деревня тонет в снегу. Снежные, белые избушки расположились вокруг ровной белой поляны, и на этой ярко сверкающей под солнцем поляне очень уютно и пригревает. Домовито пахнет дымком, печеным хлебом. Мальчишки возят друг друга на ледяшках, собаки сидят на крышах изб... Совсем дикарская деревушка! Вон молодая плечистая баба в замашной рубахе [1] любопытно выглянула из сенец... Вон худой, похожий на старичка-карлика, дурачок Пашка в дедовской шапке идет за водовозкой. В обмерзлой кадлушке тяжело плескается дымящаяся, темная и вонючая вода, а полозья визжат, как поросенок... Но вот и изба Митрофана.

Какая она маленькая, низенькая, и как все буднично вокруг нее! Лыжи стоят у дверей в сенцы. В сенцах дремлет и жует жвачку корова. Стена избы, выходящая в сенцы, сильно подалась от них, и поэтому дверь надо отворять с большими усилиями. Она отлипает наконец, и в лицо пахнуло теплым избяным запахом. В полумраке стоят несколько баб у печки и, пристально глядя на покойника, шепотом переговариваются. А покойник под ко-

ленкором лежит в этой напряженной тишине и слушает, как плаксиво и жалостно читает Псалтирь Тимошка.

— Совсем талый! — с умилением говорит одна из баб и, приглашая посмотреть покойника, осторожно приподнимает коленкор.

О, какой важный и серьезный стал Митрофан! Голова маленькая, гордая и спокойно-печальная, закрытые глаза глубоко ввалились, большой нос обрезался; большая грудь, приподнятая последним вздохом, точно закамнела, а ниже ее, в глубокой впадине живота, лежат большие восковые руки. Чистая рубаха красиво оттеняет худобу и желтизну. Баба тихо взяла одну руку, — видно, как тяжела эта ледяная рука, — подняла и опять положила. Митрофан остался совершенно равнодушен и продолжал спокойно слушать, что читает Тимошка. Может, он знает даже и то, как ясен и торжественен сегодняшний день, — его последний день в родной деревне?

День этот кажется очень долгод в мертвой тишине. Солнце медленно проходит свой небесный путь, и вот красноватый, парчовый луч уже скользнул в полутемную избу и косо

озарил лоб покойника. Когда же я выхожу из избы на улицу, солнце прячется между стволами сосен за частый ельник, теряя свой блеск.

Опять я бреду вдоль просеки. Снега на поляне и крыши изб, которые точно облиты сахаром, алеют. В просеке, в тени, чувствуется, как резко морозит к ночи. Еще чище и нежней стали краски зеленоватого неба к северу, еще тоньше рисуется мачтовый сосновый лес на его фоне. А с востока уже встала большая бледная луна. Гаснет закат, она подымается все выше... Собака, с которой я хожу вдоль просеки, забегает иногда в ельник и, выскочивая, вся в снегу, из его таинственно-светлых и темных дебрей, замирает вместе с своей резкой черной тенью на ярко озаренной дороге. Месяц уже высоко... В деревушке — ни звука, робко краснеет огонек из тихой избы Митрофана... И большая, остро содрогающаяся изумрудом звезда на северо-востоке кажется звездой у Божьего трона, с высоты которого Господь незримо присутствует над снежной лесной страной...

III

А на следующий день понесли гроб Митрофана по лесной дороге к селу.

Воздух по-прежнему был резок и морозен, и миллионы мельчайших игл и крестиков тускло поблескивали на солнце, кружась в воздухе. Бор и воздух слегка затуманивались, — только на горизонте к югу ясно и зелено было ледяное небо. Снег пел и визжал под санями, когда я бежал на лыжах в село. Там я долго мерз на паперти, пока, наконец, увидел среди белой сельской улицы белые зипуны и белый большой гроб из нового тесу. Отворили дверь в церковь, откуда вместе с запахом воска тоже пахнуло холодом: бедная лесная церковка промерзла вся насквозь, — весь иконостас и все иконы побелели от густого матового инея. И когда она наполнилась сдержанным говором, стуком шагов и паром от дыхания, когда с трудом опустили тяжелый разлтый гроб на пол, торопливым, простуженным голосом заговорил и запел священник. Жидкие синеватые струйки дыма вились над гробом, из которого страшно выглядывал острый коричневый нос и лоб в

венчике. Кадило в руках священника было почти пусто, дешевый ладан, брошенный в еловые уголья, издавал запах лучины, а сам священник, повязанный по ушам платком, был в больших валенках и в старом мужицком полушубке, поверх которого торчала старая риза. Он, наперебой с дьячком, в полчаса справил службу и только «со святыми упокой» пропел не спеша и стараясь придать своему голосу трогательные оттенки, — печаль обреченности всего земного и радость за брата, отошедшего, после земного подвига, в лоно бесконечной жизни, «иде же праведные упокоеваются». Напутствуемый протяжным пением, гроб с мерзлым покойником вынесли из церкви, пронесли его по улице и за селом, на пригорке, опустили в неглубокую яму, которую и закидали мерзлой глинистой землей и снегом. В снег воткнули елочку и, покряхтывая от мороза, торопливо разошлись и разъехались.

Глубокая тишина царила теперь на лесной полянке, по которой торчало из сугробов несколько низких деревянных крестов. Беззвучно кружились в воздухе бесчисленные

морозные остинки, где-то высоко над головой тянул сдержанный, глухой и глубокий гул: так шумит под вечер в отдалении море, когда оно скрыто за горами. Мачтовые сосны, высоко поднявшие на своих глинисто-красноватых голых стволах зеленые кроны, тесной дружиной окружали с трех сторон пригорок. Под ним широко синела еловыми лесами низменность. Длинный земляной бугор могилы, пересыпанный снегом, лежал на скате у моих ног. Он казался то совсем обыкновенной кучей земли, то значительным — думающим и чувствующим. И, глядя на него, я долго силился поймать то неуловимое, что знает только один Бог, — тайну ненужности и в то же время значительности всего земного. Потом я крепко двинул лыжи под гору. Облако холодной снежной пыли взвилось мне навстречу, и по всему девственно-белому, пушистому косогору правильно и красиво прорезались два параллельных следа. Не удержавшись, я упал под горой в густой и необыкновенно зеленый ельник, набил в рукава снегу. Задев за ельник, я быстро пошел зигзагами между его кустами. Траурные сороки с рез-

ким стрекотанием, игриво качаясь в воздухе, перелетали над ними. Минуты текли за минутами — я все так же равномерно и ловко совал ногами по снегу. И уже ни о чем не хотелось думать. Тонко пахло свежим снегом и хвоей, славно было чувствовать себя близким этому снегу, лесу, зайцам, которые любят объедать молодые побеги елочек... Небо мягко затуманивалось чем-то белым и обещало долгую тихую погоду... Отдаленный, чуть слышный гул сосен сдержанно и немолчно говорил и говорил о какой-то вечной, величавой жизни...

1901

Комментарии

Журн. «Мир божий», СПб., 1901, № 11, ноябрь. Печатается по тексту книги «Начальная любовь».

В. Н. Муромцева-Бунина вспоминает, что Бунин послал Чехову «оттиск... рассказа» («Жизнь Бунина», с. 133). Чехов ответил письмом: «Во-первых, большое спасибо за присланный оттиск, во-вторых, «Сосны» — это очень ново, очень свежо и очень хорошо, только слишком компактно, вроде сгущенного бульона» (Чехов А. П. Собр. соч., т. 12. М., 1964, с. 428—429).

Критика по-разному оценивала рассказ. И. Джонсон упрекал писателя за отсутствие в «Соснах» «столь обильных... прежде социальных чувств» (журн. «Образование», СПб., 1902, № 12, декабрь). А. Богданович восхищался языком произведения, он «безукоризненно красив и изящен, за что, между прочим, некоторые критики нападали на г. Бунина по поводу... рассказа... „Сосны“». Так, один из более строгих, чем справедливых критиков, — продолжал Богданович, — выписав следующую

фразу, подчеркнул в ней презрительным курсивом два слова: „...вечер реет над головою неслышной тенью, завораживает сонным звоном в лампе, похожим на умирающее нытье комара, и таинственно дрожит и *убегает на одном месте* темным волнистым кругом, кинутым на потолок лампой“. Почтенного критика смутило выражение: „убегает на одном месте“, но ему стоило только проверить в своем кабинете образность этого выражения, и тогда он почувствовал бы всю верность и тонкость картины вечера, нарисованной г. Буниным» (журн. «Мир божий», СПб., 1902, № 5, май). Ник. Ашешов упрекал Бунина за то, что даже «драматическую картину смерти» писатель заканчивает примиряющим аккордом, помещая ее «в такую изящно-кружевную раму поэзии, что в конечном результате вся эта поэзия незаметно вытесняет доподлинную жизнь...» (журн. «Вестник и Библиотека самообразования», СПб., 1903, № 13).

«Сосны» редактировались автором от издания к изданию. В последней публикации в конце первой главы снято описание обрядов причитания над умершим; перед словами

«это был высокий и худой» снят абзац:

«В этот день, в эту метель умер Митрофан,— думал я.— Умер... исчез куда-то и уже больше никогда не вернется тот самый Митрофан, который чуть не вчера стоял вот на этом пороге, а теперь лежит „под святыми“ и называется покойником, существом иного, нам чуждого мира».

В конце рассказа, после слов «значительности всего земного» снято:

«Митрофан! — сказал я громко, подходя к могиле. Могила молчала... Чтобы показать себе, как все это просто, я стал на нее, поднимая лыжи. Мысли путались по-прежнему, и по-прежнему я не понимал ни себя, ни окружающего, ни жизни, ни смерти бедного Следопыта».

Примечания

Т. е. сшитой из грубого домотканого холста из конопляных волокон (*прим. верстальщика*).

[^^^]